

## *История души человеческой (предисловие к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»)*

Что за название – «Герой нашего времени»? В чем его смысл? Напрашивается привычное: типичный представитель своего времени, характернейший характер, характеризующий уровень развития общества, точнее – поколения молодых людей того времени. Так ли? Печорин более похож на исключение – свойствами своей натуры. Правда, сквозь исключительность вернее всего проясняется именно присущее многим, так что не пренебрежем и расхожим толкованием.

Но социальное прочтение всем уже наскучило, если не сказать сильнее. Да и что нам социальные характеристики давно ушедших времен?

Надо учитывать и иронию, в чем сам автор настойчиво наставлял читающую публику и в основном предисловии, и в предисловии к «Журналу Печорина», а авторскими предупреждениями пренебрегать не следует, хотя они порою сознательно обманчивы. Ирония же, как известно, есть употребление слова в противоположном значении. Слово «герой», стало быть, может обрести противозначный смысл: антигерой. Перед нами как-никак художественный текст.

И вообще разгадывать загадки, заданные Лермонтовым, плодотворнее и интереснее, подбираясь к ним с иной стороны: не занимаясь социально-историческими изысканиями, но пытаясь постигнуть художественное совершенство произведения. Все-таки роман Лермонтова есть литературный шедевр.

Лермонтов явил себя в литературе не только как великий поэт, но и как гениальный прозаик.

Лермонтовскую прозу еще Гоголь определил поэтически: б л а г о у х а н н а я. Чехов восхищался: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать».

Лермонтовский синтаксис, мастерство построения фразы, завораживающий ритм всей прозы – бесспорны. Вот образец, на котором, следуя совету Чехова, следует учиться писать:

«И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяною корою, то с пеною прыгая по черным камням».

Подобная конструкция, бессоюзное сложное предложение, сочетающее ряд сложноподчиненных, включающее обособленные второстепенные члены и иные усложнения, – представляет немалую трудность, ибо, помимо выразительной ясности смысла, сама выразительность описания должна раскрываться в четком ритме составных частей, лишенном однообразия, но строго выдержанном. Еще более замечательна единая завершающая фраза повести «Княжна Мери», синтаксис которой

можно определить, как виртуозный: это тот уровень владения прозой, когда никакие технические препятствия не существуют для мастера, достигшего совершенства:

«Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...»

На подобное достаточно лишь молча указать, не разрушая того впечатления гармонии, какое не может не испытать всякий, хоть сколько-нибудь восприимчивый к совершенству художественного языка.

Справедливости ради нужно указать и на один существенный недостаток архитектоники романа: слишком навязчивое употребление некоего условного приема, без которого развитие событий просто не могло бы осуществляться. Этот прием отмечен давно: в романе «Герой нашего времени» основные персонажи слишком часто «случайно» подслушивают и подсматривают, сообразуя в дальнейшем свои поступки с обретенными подобным образом сведениями о ситуации, о характерах и намерениях тех, с кем им приходится сталкиваться в ходе развития действия.

Например, в повести «Бэла» Максим Максимыч ненамеренно подслушивает разговор Казбича с Азаматом, предлагавшим в обмен на коня украсть собственную сестру, а затем узнавший о том Печорин организует само похищение. В «Тамани» Печорин опять-таки случайно становится незримым свидетелем разговора контрабандистов, что роковым образом изменило их судьбу. В «Княжне Мери» Печорин же незримо присутствует при заговоре его недоброжелателей, вознамерившихся жестоко посмеяться над ним во время дуэли. И так далее.

Приверженность такой условности объясняется у Лермонтова, скорее всего, некоторой невыработанностью приемов, побуждающих сюжетное движение повествования, – в литературе того времени.

Встречаем в романе и некоторые отголоски романтического мироотображения – прежде всего в построении характера Печорина, несомненно родственного некоторыми чертами стереотипным натурам, какими изобилует романтизм. Это ощутимо хотя бы в той завершающей фразе повести «Княжна Мери», где главный герой сравнивает себя с «матросом разбойничьего брига»: корсары и разбойники слишком часто появляются в романтических поэмах (да и у того же Лермонтова), чтобы такое сопоставление возникло случайно. Исключительная индивидуальность с сильными страстями – это не новость для литературы. Но заслуживает восхищения мастерство, с каким Лермонтов вплетает такой отчасти построенный по шаблону характер в ткань реалистической психологической прозы – без фальши и натяжки, – прозы, основы которой он же и заложил.

Роман «Герой нашего времени» – первый в русской литературе психологический роман, и один из совершенных образцов этого жанра.

Психологический анализ характера главного героя осуществляется в сложном композиционном построении романа, композиция которого причудлива нарушением хронологической последовательности основных его частей. И пусть это стало уже общим местом всех критических разборов «Героя нашего времени», не пренебрежем вновь обратиться к осмыслению композиции произведения как одной из важнейших его художественных особенностей.

Роман состоит из пяти повестей: вслед за общим предисловием идет «Бэла», затем «Максим Максимыч», следующие же три повести, «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист», образуют единый «Журнал Печорина», которому предпослано также особое предисловие.

Истинная хронология иная. Молодой офицер Печорин после некоей случившейся в его судьбе истории, разрушившей честолюбивые замыслы героя (ничего более подробного мы о том не узнаём), следует к месту нового назначения, остановившись на пути в небольшом и «скверном» городишке Тамани (повесть «Тамань»). Затем на Кавказе он участвует в военных действиях и знакомится с юнкером Грушницким, с которым затем встречается на Водах, где он живет сначала в Пятигорске, а затем в Кисловодске («Княжна Мери»). После убийства Грушницкого на дуэли Печорин отправлен начальством в крепость под начало штабс-капитана Максима Максимыча («Бэла»). Во время двухнедельной отлучки в казачью станицу случается история, описанная в повести «Фаталист». Не вполне ясна последовательность событий двух этих повестей. Скорее, пари с Вуличем, описанное в «Фаталисте», произошло ранее истории похищения Бэлы – и это имеет принципиально важное значение. Вскоре после гибели Бэлы Печорин переведен на новое место, а затем выходит в отставку. Через пять лет после описанных событий Печорин отправляется в Персию и во Владикавказе мимоходом встречается вновь с давним сослуживцем («Максим Максимыч»). Из Персии ему не суждено было вернуться: на обратном пути он умирает (о чем сообщается в Предисловии к «Журналу Печорина»).

Повествование ведется от имени трех рассказчиков: некоего странствующего офицера (которого не следует путать с самим автором), штабс-капитана Максима Максимыча и, наконец, самого центрального героя, молодого прапорщика Григория Александровича Печорина. Зачем понадобились автору разные рассказчики? Ясно: чтобы осветить события и характер центрального героя с разных точек зрения, и как можно полнее.

Но у Лермонтова ведь не просто три рассказчика, но три различных типа рассказчика – вот важно. Какие это типы? Их и всего-то три встречается: сторонний наблюдатель происходящего, во-первых, второстепенный персонаж, участник событий, во-вторых, и сам главный герой, в-последних. Над всеми тремя главенствует создатель всего произведения, Автор, разгадать личность которого, основываясь на разборе его творения, занятие самое увлекательное.

Со всеми тремя мы сталкиваемся в романе. Но тут не просто три точки зрения, но три уровня постижения характера, психологического раскрытия натуры «героя времени», три меры постижения сложного внутреннего мира незаурядной индивидуальности. Присутствие трех типов рассказчика, их расположение в ходе повествования тесно увязывается с общей композицией романа, определяет и хронологическую перестановку событий, одновременно находясь в сложной зависимости от такой перестановки.

Начинает рассказ о Печорине Максим Максимыч, человек нам безусловно симпатичный, добрый, но простоватый (чтобы не сказать – недалекий). Он много наблюдал Печорина, но разобраться в его характере решительно не в состоянии: Печорин для него странен, о чем он простодушно заявляет в самом начале своего рассказа: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями...»

Не столь наивный читатель тут же заподозрит неладное: человек вздрагивает от резкого звука не из трусости вовсе, но выведенный из состояния глубокой задумчивости, погруженности в себя, о чем свидетельствует и следующее замечание: порою «слова не добьешься». Но Максимум Максимычу такое состояние неведомо и оттого непонятно, он и прибегает, как то делают всегда подобные лица, к объяснению.

Но все же странности некоторые в характере молодого офицера не могут не заинтересовать читателя. Из рассказа Максима Максимыча вынесет он впечатление о главном герое как о человеке черством, даже жестоком. Ради прихоти своей Печорин разрушает судьбу, делает несчастными нескольких человек. А когда уже после похорон Бэлы Максим Максимыч, отчасти соблюдая банальный ритуал, начинает высказывать Печорину слова сочувствия, тот лишь смеется в ответ. «У меня мороз пробежал по коже от этого смеха», – признается штабс-капитан. И впрямь странность какая-то.

Сам Печорин, пытаясь объяснить Максиму Максимычу свое состояние, свое поведение, высказывает парадоксальную мысль, принять которую не всякий сможет сразу и безоговорочно: «...у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. <...> Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления...»

И впрямь странный. Но в чем разгадка такой странности? – Максим Максимыч не может помочь нам в наших сомнениях.

Далее рассказ переходит к безымянному странствующему офицеру. Он далеко превосходит штабс-капитана в наблюдательности. Так, он делает замечание, на

которое Максим Максимыч никогда не был бы способен; недолго наблюдая Печорина, он предполагает: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера».

Введение в ткань романа второго рассказчика корректирует фокус изображения. Если Максим Максимыч рассматривает события как бы в перевернутый бинокль, так что всё в поле его зрения, но все слишком общо, то офицер-рассказчик приближает изображение, переводит его с общего плана на более укрупненный. Однако у него как у рассказчика есть важный недостаток в сравнении со штабс-капитаном: он слишком мало знает, довольствуюсь лишь мимоходными наблюдениями. Вторая повесть поэтому в основном подтверждает впечатление, вынесенное после знакомства с началом романа: Печорин слишком равнодушен к людям, иначе своею холодностью не оскорбил бы Максима Максимыча, столь преданного дружбе с ним. Да и поистине странный он какой-то, и странность его явно проступает во всем облике его, противоречивом даже для постороннего встречного.

И не только к ближнему своему оказывается равнодушен герой, но и к себе, отдавая Максиму Максимычу свои записки, тот самый Журнал, который окажется основной частью романа. Позднее узнаем мы, что записки эти были для него прежде драгоценны: «Ведь этот журнал пишу я для себя, – наталкиваемся мы между прочих и на такую запись, – и, следовательно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием». И вот ему едва ли не постыла вся его прежняя жизнь, раз ни в грош не ставит он теперь воспоминания о ней: не может же не знать, что давний приятель употребит драгоценную некогда рукопись, скорее всего, на патроны. И сам поступок этот усугубляется глубоким наблюдением рассказчика над внешностью неожиданного встречного: «...о глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся!

Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен».

Вторая повесть способна лишь раздражить воображение читателя: что же истинного в Печорине – злой ли нрав (к чему так легко склониться как будто) или глубокая постоянная грусть? Ко второму ответу подталкивает некоторое сомнение. Но сам рассказчик слишком немного дает оснований, чтобы окончательно принять ту или иную версию.

И только после этого, возбуждив пылкий интерес к столь необычному характеру, заставив читателя, отыскивающего ответ, быть внимательным ко всякой подробности дальнейшего рассказа, автор меняет повествователя, давая слово самому центральному персонажу: как рассказчик он имеет несомненные преимущества перед

двумя предшественниками своими, ибо не просто знает о себе более других (что естественно), но и способен осмыслить свои поступки, побуждения, эмоции, тончайшие движения души – как редко кто это умеет. Трудно даже сразу понять, чем он более озабочен – действием или размышлением над смыслом действия.

В нем одном – идеальное совмещение и героя, и тонкого наблюдательного рассказчика. «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» Печорин наводит на свою душу увеличительное стекло, и она предстает перед всеми без прикрас, без попытки рассказчика что-то утаить, сгладить, дать в более выгодном свете, ибо он исповедуется самому себе, зная, что самого себя обмануть нечего и пытаться: для этого его ум слишком проницателен.

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление», – предваряет рассказчик наше знакомство с записками Печорина, которые он решился опубликовать, и тем указывает нашему и без того обостренному вниманию, по какому пути следует устремиться.

Однако первая часть Журнала Печорина отнюдь не рассеивает нашего недоумения, а лишь усугубляет его. Важно: не зная мы начала, не восприняли бы в полноте и парадокса: натура Печорина предстает перед нами в резком контрасте тому, что мы уже знаем о нем. Важно также: переход от второй повести к третьей сопряжен не только со сменой рассказчика, но и резким хронологическим сдвигом – из самого завершения истории героя мы переносимся в ее начало. И видим вдруг, что перед нами не застывший романтический характер, но индивидуальность в ее развитии. И оказывается, не был Печорин прежде столь ленив душою и телом, как в конце, – напротив: он подвижен, любопытен, полон внутренней энергии. Его романтический настрой возбужден некой тайной (на поверку тайна обернулась заурядной обыденностью: *честные контрабандисты* не стремились обнаружить свою деятельность при свете дня, только и всего), он пускается в опасную авантюру и применяет немалые усилия, чтобы остаться в живых.

Печорину времени путешествия в Персию, пожалуй, лень было бы лишний шаг сделать ради раскрытия какой бы то ни было загадки. Единственно, что в нем неизменно от начала до конца (видим мы теперь), – это способность приносить несчастья всем, с кем его сводит судьба. Добро бы заботился о недопущении беззакония, а то ведь одно праздное любопытство всему виной.

Третья повесть лишь еще больше озадачивает читателя, следящего не просто за сменой событий, но озабоченного разгадыванием внутреннего развития человеческой индивидуальности. Когда бы повесть «Тамань» стояла в начале романа, как ей и положено по временной последовательности, она не смогла бы возбудить в читателе никаких вопросов, но лишь породила бы поверхностное впечатление: какие только

диковинные случаи не приключаются порою на этом свете!

Лишь только после того, как восприятие наше предельно обострено, начинается самораскрытие характера главного героя романа, героя столь давнего уже для нас времени. Печорин постоянно рефлектирует, занят самокопанием, самоедством – его беспокоят внутренние противоречия собственных стремлений и поступков. И равнодушный читатель сможет разглядеть, что и его собственное время может стать для него отчасти ближе и понятнее, когда он без лености душевной осмыслит жизненный итог этого никогда не существовавшего персонажа, рожденного вымыслом художника. Никогда не существовавшего в реальности, но вот уже полтора века существующего в умах и воображении всякого образованного русского человека.

Знакомясь с записками Печорина, мы получаем возможность судить его непредвзято и бесстрастно. Именно судить, осуждать, поскольку суждение и осуждение направляется здесь не против человека (его нет, он лишь бесплотный вымысел), но против того греховного состояния души, какое запечатлено Лермонтовым в образе Печорина.

Печорин проницателен и видит порою человека насквозь. Только обосновавшись в Пятигорске, он иронично предполагает уровень взаимоотношений между\* местными дамами и желающими привлечь их благосклонность офицерами: «Жены местных властей... менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум». И пожалуйста: Грушницкий при первой же встрече почти дословно повторяет то же, но уже вполне всерьез, осуждая приезжую знать: «Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» Добиваясь власти над душою княжны Мери, Печорин на несколько ходов вперед предугадывает развитие событий. И даже недоволен этим – это становится скучным: «Я все это знаю наизусть – вот что скучно!»

Но как ни иронизирует Печорин над банальными ужимками ближних своих, он и сам не прочь использовать те же высмеиваемые им приемы ради достижения собственной цели.

«...Я уверен, – мысленно высмеивает Печорин Грушницкого, – что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?..» – и так далее». Втайне посмеявшись над приятелем, Печорин вскоре произносит перед княжною эффектную тираду: «Я поступил, как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте». Сопоставление любопытное.

Он же точно рассчитывает поведение Грушницкого на дуэли, складывая по

своей воле обстоятельства так, что, по сути, лишает противника права на прицельный выстрел, и тем ставит себя в более выгодное положение, обеспечивая собственную безопасность и одновременно возможность распорядиться жизнью бывшего приятеля по собственному произволению.

Подобные примеры можно множить. Печорин незримо руководит действиями и поступками окружающих, навязывая им свою волю и тем ушиваясь.

Он и в себе не ошибется, не утаив от собственного внимания скрытые слабости душевные. И читатель, способный сопоставить и осмыслить поступки персонажей, обнаруживает неожиданно мелочность и тщеславие, достойное скорее Грушницкого: «Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевки пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая».

Или другое – страсть противоречить, в какой он себе признается. Кто знает эту страсть, знает и источник ее – то, что современным языком определяется как комплекс неполноценности. Помилуйте, у Печорина-то?! Гордыня – да. Он весь переполнен гордынею, сознавая в самоупоении собственное превосходство над окружающими: он же утиный человек и не может такого превосходства не сознавать. Так, конечно. Но гордыне всегда сопутствует тайная мука, утишить которую можно, лишь противореча всем и всему, противореча ради самой возможности опровергать, выказывая тем себя, независимо от того, стоит за тобою правда или заблуждение. Само стремление романтической природы к борьбе есть следствие такого комплекса, обратной стороны всякой гордыни. Гордыня и комплекс неполноценности неразлучны, они борются между собой в душе человека незримо порою, составляя его муку, его терзания и постоянно требуя себе в качестве пищи борьбу с кем-то, противоречие кому-то, власть над кем-то. «Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» Печорин действует исключительно ради насыщения гордыни. «...Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью».

Для того чтобы перед самым собою так безжалостно обнажать свои пороки, как это делает Печорин, точно нужно мужество, и особого рода. Человек чаще стремится скрыть от самого себя нечто мучительное в своей натуре, в жизни, – даже убежать от действительности в мир опьяняющей и глушащей сознание грезы, выдумки, приятного самообмана. Трезвая самооценка – часто дополнительная причина внутренней депрессии, терзаний. Печорин становится поистине героем своего времени, ибо не



прячется от настоящего ни в прошлом, ни в мечтах о будущем, он становится исключением из правила, персонифицированным Грушницким, этим напыщенным обманщиком самого себя.

Печорин – герой. Но героизм его – душевный, не духовный по природе своей. Печорин – эмоционально мужественный человек, но он не в состоянии раскрыть в себе самом своего истинного *внутреннего человека*. Упиваясь своею силою или терзаясь внутренними муками, он вовсе не смиряет себя даже тогда, когда видит в себе явные слабости, явные падения; наоборот, он постоянно склонен к самооправданию, которое соединяется в душе его с тяжким отчаянием. Не столь уж он рисуется, когда произносит перед княжной знаменитую свою тираду: «Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромн – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – никто меня не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собою и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди у меня родилось отчаяние – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой...»

В словах Печорина есть и доля истины. Недаром говорится в Евангелии: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы». Это Печорин признавал вполне. Но евангельские слова раскрывают всю неполноту сознания лермонтовского героя: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога».

Печорин готов переложить вину на «дурное сообщество», но своего безбожия осознать не стремится отнюдь. Незнание Бога влечет в направлении вполне определенном.

В нем нет смирения, оттого он не сознает в слабости своей природы глубоко укорененную греховность. Можно сказать, Печорин искренен в своем нераскаянии: он простодушно не различает многие свои грехи. Он трезво сознает собственные пороки, но не сознает в них греха.

«Погубляет человека не величество, не множество грехов, но нераскаянное и ожесточенное сердце» – эти слова святителя Тихона Задонского можно бы поставить эпиграфом ко всему роману.

Если проследить поведение и размышления главного героя лермонтовского романа, то, пожалуй, он (герой, а не роман) останется чист только против девятой заповеди: лжесвидетельством своей души он не пятнает; хотя, должно признать,

порою Печорин иезуитски изворотлив и, не произнося лжи несомненной, ведет себя, без сомнения, лживо. Это заметно в его отношениях с Грушницким, то же и с княжной: нигде ни разу не говоря и слова о своей любви (какой и нет вовсе), он не препятствует ей увериться в том, что всеми его действиями и словами движет именно сердечная склонность. Совесть вроде бы чиста, а уж коли кто в чем-то обманывается, тут его собственная вина.

О первых четырех заповедях, объединенных общим понятием любви человека к Создателю, говорить по отношению к Печорину вроде бы бессмысленно. Однако нельзя его назвать человеком вполне чуждым религиозному переживанию, хотя бы в прошлом. Слабые отблески отошедшей от него веры заметны в некоторых второстепенных деталях, сущностно важных для понимания его судьбы. Детальями-то пренебрегать нельзя: Лермонтов пользуется ими умело и тактично, и чуткому писателю они немалое раскроют (недаром Чехов, великий мастер художественной детали, так восхищался Лермонтовым).

Вот заходит Печорин в лачугу контрабандистов: «На стене ни одного образа – дурной знак!» Впрочем, это можно расценить как приметливость человека, к иконам тоже равнодушного. Но полностью равнодушный ничего и не заметит. Печорин оказывается знакомым с Писанием: цитирует, хотя и неточно (скорее, не цитирует, а перелагает своими словами) одно из пророчеств Исайи: «В тот день немые возопиют и слепые прозрят». Другой раз Печорин цитирует Евангелие: «...я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – только не воду...» Всякий узнает здесь известный эпизод, отмеченный в Евангелии. Правда, оба раза в обращении Печорина к Писанию сквозит ирония, что должно признать греховным нарушением третьей заповеди (обращение к слову Божьему всуе – при расширительном толковании заповеди), однако о лермонтовском герое нельзя сказать, что он пребывает вне религии вообще.

Важно осознать: Печорин как бы исповедует перед самим собою, но исповедь эта остается безблагодатною – не только потому, что нецерковна. У него и наедине с собою, со своею собственной совестью, застлан взор. Он не различает откровенной греховности. Почему?

Важнейшим энергетическим узлом всего романа должно признать следующее рассуждение Печорина:

«А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первом}’ лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть

не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пицца нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Печорин рассуждает о честолюбии, но так изъясняется обыденное сознание. На языке святоотеческом это обозначено точнее: перед нами грех л ю б о н а ч а л и я . Откровенный, ничем не прикрытый. Гордыня слишком мощная. Можно ли более очевидно, нежели это сделал Печорин, возносить «бесовскую молитву»: да будет воля моя! Он э т и м живет, это движет всеми его действиями. Конечно, Печорин мелочен в своих побуждениях и действиях, но бесовское начало не перестает оттого быть менее губительным, лукавым и мрачным, менее бесовским по природе своей. Да ведь в исходе – смерть и страдания человеческие, как ни презирай он Грушницкого и ни пожимай равнодушно плечами перед слезами княжны. Пусть тут частный случай, да еще в мелочном проявлении, однако в нем, как в капле, отражен общий бесчеловечный закон сатанинского разрушающего начала.

Лермонтов, хотел он того или нет, показал закономерный итог, к которому вынужденно приходит человек эвдемонического типа культуры, кто раньше, кто позднее. Раньше приходят именно герои. Ведь в изначальном своем стремлении к счастью человек начинает осмыслять его в категориях чувственного удовольствия.

Именно пресыщение чувственными удовольствиями рождает в нем иное понимание счастья, откровенно сатанинское по природе своей: «А что такое счастье? Насыщенная гордость». Христианство учит: именно гордыня есть основа того зла, в котором пребывает мир. Гордыня дьявольская – и гордыня человеческая. И она слишком откровенно превозносится Печориным как высшая и самодовлеющая ценность человеческого бытия. Он творит себе из нее кумира и подчиняется ей безусловно.

Печорин все осмысляет и оценивает в категориях первенствования, господства, желания получить, а не отдать. Он во всем ищет с в о е г о : в любых взаимоотношениях с ближними. «...Я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого...» Это о дружбе. А вот к чему свелось желание любви: «...теперь я только хочу быть любимым...»

Однако счастья это не дает. Недаром же преподобный Ефрем Сирийский в своей величественной молитве ставит рядом два неблагоприятных состояния: дух уныния и дух любоначала. Печорин пребывает в духе уныния – несомненно. Он познает высшую степень уныния – отчаяние и тоску.

Созидание фальшивых кумиров, установление неверных целей может лишь обесмыслить жизнь, что и ощущает в конце концов Печорин – с неизбежностью.

Печорин – «лишний человек», это известно. Пусть сей предмет и кажется кому-то скучноватым, но и банальная истина – все же истина, и не годится ею совершенно пренебрегать. Знаменитый внутренний монолог Печорина в ночь перед дуэлью большинство знает едва ли не наизусть.

Печорин не знает истинной любви. Но, говорится в Евангелии: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Для Печорина источником любви мыслится удовлетворенная гордыня: «...если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви». Любовь же других, не забудем, для него есть лишь пища, питающая его любоначалие. Сознает ли он свой парадокс: сатанинское начало должно породить состояние души, приближающее ее к Богу?

Но по истине – Печорин изгнал Бога из своей души, обуянной гордыней, а взамен получил лишь пустоту отчаяния.

Вот так и входит в человека ощущение неполноценности: он оказывается одиноким, ему не на что опереться в самом себе. Поэтому его внутреннее страдание может родить только зло: «Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого». Этот нравственный садизм есть явный результат отсутствия Бога в душе; в душе, полной любви, собственное страдание рождает возможность сострадания к ближнему, и только это. Там, где поселяется бес, – «зло порождает зло».

Как и всякий человек, смутно сознающий свою вину во всех собственных (и не только собственных) бедах и стремящийся оправдаться хотя бы перед собою, и прежде всего перед собою, своей совестью, Печорин старается отыскать для себя какие-то смягчающие обстоятельства, если не полное избавление от всех обвинений и укоров совести. Это не может не подтолкнуть его к размышлениям о судьбе как о внешней силе, определяющей его поступки и снимающей с него хоть какую-то долю вины. В записках Печорина заметна эта явная склонность к отысканию возможности самооправдания. «С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?» Или: «И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упал на голову обреченных, часто без злобы, всегда без сожаления...» В самом деле: не виновны же палач и топор в том, что являются лишь орудием некоей высшей воли.

Порою мысль о судьбе способна уязвить печоринскую гордыню: «Неужели,

думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? <...> Уж не назначен ли я судьбою в сочинители мещанских трагедий и семейных романов – или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..»

Фатализм, к которому так заметна склонность Печорина, мог иметь для него вполне определенные последствия, что и случилось. Прежде всего существование непреложной судьбы снимает с человека всякую ответственность – а Печорин к тому весьма склонен. Но фатализм порождает и безволие, бездействие, безысходность. И впрямь: чего ради суетиться и чего-то желать, когда все определяет посторонняя воля, безлика ли судьба, всемогущий ли Бог? А это и крах всех честолюбивых притязаний: нечего тешить себя иллюзией, мнить себя творцом развивающейся драмы; судьба заставляет лишь участвовать в пошлой мещанской истории. И ты сам становишься лишь послушной марионеткой в руках неведомого кукловода. И каков смысл в той страстной мольбе: «да будет воля моя»?

Поэтому тот спор, что разгорелся между персонажами повести «Фаталист» относительно предопределения, для всех участников объясняется обычным любопытством, но в душе Печорина он обретал значение величайшей важности. Заметим: герой принимает решающее участие в ходе события – держит пари с Вуличем; подталкивает его намеренно провоцирующей репликой, лишь только возникло подозрение, что испытание судьбы не состоится; внимательно следит за всеми действиями поручика.

И как не убедиться (хоть на миг) в существовании судьбы, когда размышление об участи несчастного Вулича с такой парадоксальной убедительностью склоняет к тому. Затем Печорин уже на себе испытывает судьбу, и снова с тем же итогом: что иное, как не судьба, спасает его от неминуемой, казалось бы, гибели, когда пуля пьяного казака срывает его эполет. Под конец даже не склонный к метафизическим прениям Максим Максимыч бесхитростно повторяет тот же вывод: «Видно, уж так у него на роду было написано!..»

Повесть «Фаталист» недаром завершает роман: в ней подводится итог, разъясняющий окончательно все загадки характера героя. Хотя само описанное в ней событие отнюдь не последнее в хронологии романа. По многим признакам пари с Вуличем случилось до истории с Бэлой: после нее Печорин недолго пробыл в крепости, был подавлен и нездоров, что не согласуется с его двухнедельным выездом в казачью станицу и внутренним самоощущением героя в тот период. Печорин в станице не похож на человека, только что пережившего душевную трагедию. Следовательно, похищение Бэлы, любовь и охлаждение к ней завершают «историю души человеческой», определяя состояние этой души на весь остаток времени.

В «Бэле» рассказано было, догадываемся мы теперь, о последней предпринятой Печориным попытке полюбить истинно, бросить вызов судьбе, разорвать порочный

круг, в котором томила отчаянием душа его. И – безуспешно.

Только в самом конце становится понятен тот жестокий смех, каким ответил герой на утешения Максима Максимыча: то был смех холодного отчаяния. Отчаяния, которое создатель Печорина выразил в полных безнадежности строках:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –  
Такая пустая и глупая шутка...

Вот этой-то шутке смеется лермонтовский герой. Или сам автор?..

Нам же должно осмыслить это роковое заблуждение безблагодатного восприятия бытия.

Печорин, предавшись соблазну фатализма, отрекается от собственной виновности во всем происшедшем и проникается иллюзией бессилия воли вообще. Грех двойной. Абсолютизация человеческой воли («да будет воля моя») ни к чему иному и привести не может, как только к разочарованию в каких бы то ни было возможностях этой воли.

Печорин трезво и мужественно разглядел источник многих своих бед, но не признавал природу их: «В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге». Недаром помещены эти мысли героя на последних страницах романа. Печорин, повторимся, узрел причину зла, но не природу своего соблазна.

Состояние души Печорина может вообще стать показательной иллюстрацией ко многим рассуждениям святых отцов о гибельности для человека страстей, уныния, самомнения, мечтательности и т. д. Лермонтов почерпнул подтверждение святоотеческой мысли в современной ему жизни.

И вот важно: сам Лермонтов, как и его герой, мучительно переживал свое одиночество, ощущая в том единство с современниками, со всем поколением своим – в грехе.

Чтобы избыть грех, следует его признавать. Стихотворение «Дума» (1838) есть акт осознания общего греха поколения.

К добру и злу постыдно равнодушны,  
В начале поприща мы вянем без борьбы;  
Перед опасностью позорно малодушны,  
И перед властью – презренные рабы.

...

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,  
И царствует в душе какой-то холод тайный,

Когда огонь кипит в крови.

Над тем же с горечью размышляет и Печорин:

«А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...»

Скажем опять: подобные стихи и подобное совершенство прозы (отметим в который раз мастерство построения фразы) таят в себе и опасность: они могут стать и началом избавления от наваждения сходных дум, и, напротив, началом подпадения под их власть. Искусство коварно. Оно не только отражает, оно и заражает.

Внося противоречивые стремления в душу, искусство может обречь ее на долгую внутреннюю борьбу. Полярные противоречия, заложенные в лермонтовские создания, не могут не вызвать сильнейшего разряда – очищающего либо губительного. Эти противоречия суть отражение душевного состояния самого поэта.

Вероятнее всего, душа Лермонтова пребывала накануне духовного перерождения. А мы знаем (снова вспомним святых отцов), как опасно такое состояние: бесовские силы тогда становятся особенно активны. Сама дуэль с Мартыновым стала следствием, несомненным следствием такой активности, которой Лермонтов не смог противостоять.

Осмысляя итог лермонтовского пути, Вл. Соловьев писал: «...мы знаем, как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова... У Лермонтова с бременем неисполненного призвания связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можем и должны. Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных, и если хоть один из малых сих вовлечен им на ложный путь, то сознание этого, теперь уже невольного и ясного для него, греха должно тяжелым камнем лежать на душе его. Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе».

*М. Дунаев*